

Александр БРАГИН

ТЕЗКИ

Василий Шукшин и Василий Белов
при встречах и на расстоянии

Это для других Василий Иванович Белов известный писатель, а для Анфисы Ивановны — сын. Прежде всего сын. И гордится она больше не тем, что он хорошие книги пишет (книгами — тоже), а тем, что он землю, на которой родился, любит, мать почитает, совестью не торгует, и худой славы за ним нет. Наоборот, кругом ему уважение. Свои, деревенские, говорят: «Василий Иванович хоть именитый, а наш — простецкий...»

«...Еще встречались люди по пути, все знакомые ему, — ветхий пастух с батоном; тракторист, перегонявший куда-то обширные, как помост, связанные из целых стволов сани; колхозный бригадир в седле и женщина с бельем у речки — и хотя многих он был тогда моложе вдвое, а то и втрое, величали его не иначе, как по имени и отчеству, — отмечал писатель Евгений Носов. — Это не было тем извечным угодливым подобострастием деревенского человека перед городским, полуграмотного — перед получившим институтское образование, а тем более перед званием писателя, — звания еще не все определяют. А это было то особое почтение, порожденное его книгами, той правдой в них, которую всегда ревниво и как-то болезненно-честно он оберегает перед своими земляками. Конечно же, они читали все, что написано Василием Беловым, иные, возможно, разбирали слова по складам, водя огрубелым пальцем по строчкам».

Имя у деревни не яркое, да любовное — Тимониха. Обычно так кого-либо из своих, из деревенских женщин, прозывают — из пожилых, обстоятельных. У соседних селений тоже в названии женский род — Лобаниха, Печиха, Тетериха, Вахрушиха, Помазиха.

Пахари из века в век только успевали подрасти, вспахать поле, свадебного пива хлебнуть, как пора уже было собираться на войну, на битву с незваным гостем. Редко кому обратная дорога была суждена. А если и суждена, то через одного — на скрипучих костылях. Оттого и женские окончания в именах здешних деревень...

Иван Федорович Белов, отец писателя, пал смертью храбрых в октябре 1943 года в бою под Смоленском. До войны семья его, состоявшая из восьми человек, «жила дружно и интересно».

— Ребят вырастила, — рассказывает Анфиса Ивановна, — поразъехались они. Кто учиться, кто куда... Я Васе и пишу, как с домами-то быть — одна я на две избы? Продать разве какой? Вася мне отписывает, мол, как сама решишь, нам дом в деревне ни к чему. Ну, я один-от и продала. За триста, по-нынешнему за тридцать, рублей.

Вася потом одумался. А было, от деревни-то оттрекся. Теперь вот жалеет, что отцов дом продала...

Потом беседа наша сменила русло. Анфиса Ивановна вроде бы и без причины, к слову, вспомнила Шукшина.

Я ее переспросил:

— Он бывал здесь?

Анфиса Ивановна пояснила:

— Наезжал к нам Шукшин. Мужчина, конечно, хороший. Но уж больно худ. Тонкой — что жердь. Вот Евгений Иванович наезжал — это про Носова, тот — видный собой. И приветливый Евгений Иванович, разговорчивый. А Шукшин — молчун. Сидит на лавке, молчит, молчит. Думает. И отчего в нем эта худоба? На работе ли высох? Или его тогда болезнь съела? Не знаете? Да и где теперь знать...

Белов познакомился с Шукшиным в общежитии Литинститута на углу Добролюбова и Руставели. Госкино арендовало часть комнат для слушателей Высших сценарных и Высших режиссерских курсов. Шукшин учился на Высших сценарных. И хотя он к тому времени был москвичом, но в общежитие к однокашникам-сценаристам захаживал.

— Баню они топили, — продолжает Анфиса Ивановна. — Шукшин до бани не такой охотник, как мой Вася. Раз-два в избу прибежит — мол, добра баня. А сам ничевушку поплескается. Родом он, Шукшин, из Сибири. А как я замечала, нравилось ему здесь: места наши, вода. Пирогги мои еще хвалил...

Первый раз Шукшин гостил в Тимонихе ранней осенью 1969 года. Приехал он не один. С ним был кинооператор

Анатолий Заболоцкий, который участвовал и в последующих поездках Василия Макаровича к Белову. Пробыли они тогда здесь недолго: в столице ждали дела.

В Москве при встрече с Заболоцким прошу его рассказать о той осени. Человек прямой и открытый, душа легко-ранимая, Заболоцкий не особо щедр на слова и на признания. Но на этот раз в его глубоких голубых глазах сразу затеплились огоньки, верный признак душевного расположения к разговору.

— В подробностях поездку воскресить не берусь. Забыть ее, конечно, пока жив, не забуду. А рассказать, заново сложить... Напрасные потуги, по-моему. Как виденье — светлое виденье — расскажешь? В обычных словах, не нагруженных памятью, много ли смысла? Я не отказываюсь. И попытаюсь. Но бледно получится, вот чего боюсь.

Говорят: не красна изба углами, а красна пирогами. Изба Беловых красна была и углами, и пирогами. Мы с Макарычем поняли это, как только переступили порог. Потчевала нас Анфиса Ивановна усиленно. Особенно Шукшина. Стряпать начинала она спозаранку. Самовар не сходил со стола. Соседи, прослышав, что в деревне гости, ташили кто что мог, кто чем богат. Не потому несли, что Шукшин, мол, знаменитость. Он тогда не был так известен. Тут одно объяснение: уважение к Василию Ивановичу. А поскольку мы его гости, и нам этого уважения перепало. Правда, наверное, и хлебосольные традиции здешних холмов дело не пустячное. Уедут гости — деревню добрым словом не обнесут. Для селянина это кое-что значит.

Изба нас с Макарычем тогда околдовала. Просторная, ухоженная. Снаружи в сухую погоду — серая с серебром, в дожди — темная до черноты. Изнутри — беспрерывно золотая: в ведро золото стен и потолка светлое, в ненастье и к закату — червленое. Я ходил — как летал. Василий Иванович показывал нам свое собрание крестьянской утвари. Я был благодарен Шукшину, что он меня взял.

Макарыч восторгов не выражал. Держался сдержанно. Потом, правда, не однажды, когда туго приходилось, спрашивал: «Толян, а не махнуть ли в Тимонику?..».

Шукшин ехал на родину Белова встряхнуться. В иных случаях побывать в новых краях все равно что после сна плеснуть из ковшика студеной воды в лицо. Вначале чуть одуреешь. Затем спадет оцепенение, и так жизни обрадуешься — «живой!», «живу!» — словно еще вчера кто-то покусался на данную тебе благодать: дышать, смотреть, слышать.

Он сел в вологодский поезд с одним чувством: устал — надо отдохнуть, а Тимониха — это, кажется, даже не край света, мигом доскачу.

Решение отлучиться пришло неожиданно. Еще вчера он никуда не собирался. Кому-то звонил, с кем-то спешил по-видаться. Еще утром голова трещала от забот: значит так, в Госкино обещал, на студию — обязательно, на выставку... А чья выставка? Граждане, чья выставка? Не помню. Помню, где. Но тоже, кажется, обещал. Круговерть!..

Если честно, он рад был круговерти. Не хуже других живет. Иного, может быть, даже и поинтересней. Оттого и в мыле.

И вдруг — все опостылело.

«Наши дни в Москве проходят в напряжении — ничего не упустить, все схватить, все попробовать, — скажет он потом в своем последнем интервью болгарскому журналисту Спасу Попову. — А вечером, когда задумаешься, что произошло за день, оказывается — ничего. Жизнь ушла дальше. Еще день прошел мимо тебя».

В многомиллионном городе всякому, с кем перебрассываешься телефонными звонками, с кем сталкиваешься в коридорах учреждений, к кому притиснут в очередях, в автобусах, в метро, нельзя быть не только приятелем, но даже мало-мальски знакомым. Но держаться чопорно, букой с людьми, которые выказывают тебе свое расположение или уверены, что только ты можешь их понять и оценить, или просто дышат тебе в ухо, тоже вроде неудобно. Не людски. Не оправдаешь звания. Стоят потупившись и телеграфные столбы. А ты — человек. Ну и... проявляй себя в соответствии. Вот и вяжешь из глаголов и междометий разговор. И не вязать стыдно, и вязать кое-как стыдно. С какой стороны ни глянь — кругом виноват. Ведь честный человек по неписаным законам уж коли с кем разговаривает, то искренне и доверительно, ты это прекрасно знаешь. Так в чем дело? Следуй порядочным согражданам? Господи, рад бы? Увы... Если каждый день с доброй сотней людей быть искренним и доверительным — а именно с доброй сотней тебя при твоей профессии сталкивает город-исполин, — то чего доброго можно и в болтуна превратиться.

Люди тянулись к нему. Чем более узнавали его по книгам и фильмам, тем сильнее тянулись. Их привлекали его неприглаженность, его стремление говорить обо всем всерьез и по-государственному, его потребность говорить о государственном как о личном, как о семейном, его не-

умение думать иначе. Поэтому можно ли их винить в том, что они хотели личного общения с Василием Макаровичем? Да не награда ли это?! Не он ли повторял: «Не верю, чтоб художник сознательно задавался целью быть непонятным. Для кого-то да он работает». Его приглашают, просят быть. Он посещает десятки вечеров, выставок, домашних чаепитий. Его мнение, шутка, комплимент тотчас берутся на вооружение. Но этого мало! От него постоянно ждут откровений. По любому поводу его обязуют излить душу, распахнуться, не стесняться.

Дома, в своей квартире, в привычной обстановке, почему-то стало тяжело, одиноко. Ну прямо хоть жалей себя... Уехать? Куда? Куда-нибудь. Отсидеться, одуматься.

И тут память ему подсунула адрес: харовские леса, деревня Тимониха.

Пожалуй, выбор был сделан случайно — а почему бы и не к тезке, он меня к себе зазывал. Только не верится, чтобы случайно. Они уже считались друзьями. «Есть у меня друг, писатель, великолепный писатель» — это сказано Шукшиным о Белове за два года до поездки.

Когда дела приводили Белова в Москву, он нередко останавливался у Шукшиных. Читал написанное. Советовал, как было, например, с «Зорями».

«Он задумал сценарий кинокомедии, — писал Шукшин в 1967 году. — Почти уж написал. Прочитал мне. Он — писатель, он не мог, чтобы «камера выхватывала лица», но он достаточно опытен, чтобы почувствовать разницу между сценарием и повестью и не написать повесть, что он прекрасно умеет. Это — сценарий. И какой! У нас такой комедии еще не было, смело могу это заявить. И смешно, и грустно, и думать охота. Но представил я, как будет он мыкаться с ней, искать режиссера, а он не умеет, да у режиссера часто «свое на уме», а и найдется какой — не так поймет, скажет: вот тут изменить бы... И посоветовал я ему: пиши как повесть. Появится в журнале, прочитают, может, захотят поставить. Тогда напишешь сценарий. Или продашь право на экранизацию. А так — куда с ней? «Искусство кино»... Не беспределен и этот журнал; и потом, как правило, там идут сценарии, которые как-то уже нащупали свою производственную судьбу. По-моему, он согласился — так вернее».

...В поездке Шукшин помягчел. Поуспокоился. Вполголоса обсуждал с Заболоцким последние киношные новости.

Он не предполагал тогда, как много будет значить для него это путешествие. Не предвидел, что так вот, с нега-

данной поездки на родину друга, начнется вершинный этап в его жизни и творчестве. Не мог знать, что перед смертью вспомнит харовскую деревушку с благоговением.

Оказывается, не только изба околдовала Шукшина, когда он впервые гостил в Тимонихе.

В то время у Белова в издательстве «Молодая гвардия» лежала рукопись книги «Сельские повести». Василий Макарович загорелся идеей написать к ней предисловие. И в 1970 году написал его. В предисловии он высказал свои впечатления от поездки:

«Как-то гостил я у Белова в родной его деревне Тимонихе. И стал невольным свидетелем одной сцены. Пришла старушка с бумажкой, на которой записан адрес дочери... Пришла, чтоб писатель написал письмо ее дочери и выговорил бы ей вины ее перед родными — не пишет, совсем забыла... И столько было у старушки веры и надежды, что «Васенька, ангел наш» (она как-то произносила: «аньдели»), сумеет так написать ее дочери, что та поймет наконец, что... О, сколько веры она принесла с собой, та хлопотливая старушка! Да и горе ведь принесла — отбилась дочь-то от дома, совсем отбилась. Я сперва подумал, что это какая-нибудь двоюродная тетя Белова, а та самая дочь, которую поглотил город, стало быть, двоюродная его сестрица — отсюда такая свойская доверчивость. Оказалось, нет — чужая. А вот — принесла. Видно, тут и ответ на вопрос, откуда у писателя запас добрых сил? От людей же... И людям же и отдается».

Не эта ли сцена, глубоко запавшая в душу, дала Шукшину первоначальные токи для создания в киноповести «Калина красная» образа матери Егора Прокудина? Егора, которого тоже «поглотил город» и который также «совсем отбилась» от дома. Не великая ли вера старушки в писательское слово натолкнула на мысль: а не обратиться ли ему сразу ко всем отбившимся от дома взрослым детям, чтобы те поняли наконец?.. Если же его слово на подобное не способно, на что оно вообще годится!..

Не забыта была в предисловии и баня, с нее предисловие начиналось:

«Я легко и просто подчиняюсь правде беловских героев... Когда они разговаривают, слышу их интонации, знаю, почему молчат, если замолчали, порой — до иллюзии — вдруг пахнет на тебя банным духом... «По всей бане так ароматы и пойдут!» — не много сказал вологодский расторопный мужик, а — вкусно сказал! Дальше он же добавил: «Зато и жили по девяносто годов». И вот — что тут

случается? — вдруг мужичок становится каким-то родным, понятным, и уж нет никакого изумления перед мастерством писателя, а есть — Федулович, и, хочешь, говори с ним: «Да будет хвастать-то! — «по девяносто годов». Так через одного по девяносто и жили?» Кинется небось доказывать, что жили! А хочешь, следи дальше, как он на полке разворачивается: «Кха! Едрена Олена!.. В такую бы баньку да потолстее Параньку. А ты, Митрей, полезай повыше, на полу какой скус?» Я невольно улыбаюсь...».

Да, Шукшин держался в Тимонихе сдержанно. «Сидит на лавке, молчит, молчит. Думает», — как отметила Анфиса Ивановна.

Но по внутренней сосредоточенности, по беспощадности сердечной работы осенние дни 1969 года, вероятно, относятся к числу самых напряженных в его жизни.

Когда на экраны вышел фильм «Ваш сын и брат», случился у Шукшина разговор о деревне с молодыми учеными города Обнинска: «Поступила записка. Спросили: «А сами Вы хотели бы сейчас пройтись за плугом?» Тут я сбился... На меня смотрели весело и понимающе. Я заявил: «Если бы там была киностудия, я бы опять ушел в деревню». Это было совсем глупо».

Он оправдывался, хотя не считал себя ни в чем виноватым: «Так у меня вышло к сорока годам, что я — ни городской, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение».

На обсуждении фильма в Союзе кинематографистов СССР Василий Макарович поправился: «Я люблю деревню, но считаю, что можно уйти из деревни. И Ломоносов ушел из деревни, и русский народ от этого не потерял...».

Осенью 1969 года в Тимонихе Шукшин впервые всерьез задумался: благоворен ли для него тот образ жизни, который он ведет? Писательство — не только движение пера, это прежде всего поведение. Какого балла заслуживает он по поведению?..

Были у Шукшина и еще поездки на родину Белова. Одна даже зимняя. Прожили они тогда с Заболоцким у Василия Ивановича около месяца. Сами печь топили, сами кашеварили: Анфиса Ивановна в отлучке находилась.

«Зимой в деревне благодать. Тихо-тихо. Тишина, аж уши ломит! Трактор появится, так мы все трое к окнам липнем: кто едет? — вспоминает Заболоцкий. — Макарыч с Василием Ивановичем постоянно спорили, ссорились даже, они по-разному оценивали роль Разина в отечественной истории. Белов полагал, что Шукшин склонен к пре-

увеличению. Василий Макарович отстаивал свой взгляд на донского казака...

Белов часто сердился на Шукшина:

— Зачем тебе три кареты: кино, актерство и литература? Куда тебе столько? Не выдержишь! Бросай-ка кино. В литературе от тебя больше пользы будет.

Договорились до того, что Белов собрался покупать для Шукшина в Тимонихе дом. Макарыч просил погодить — надо, мол, сперва в Сростках погостить, с родиной посоветоваться.

Он еще тогда, пожалуй, твердо не решил, пригоден ли для него опыт Белова.

По окончании Литературного института и возвращении в 1964 году в Тимониху Белов много и плодотворно работает. Воистину, точно обессиленный былинный богатырь, припал он к родной земле и получил от нее невиданную силу. Вологодский поэт Александр Романов рассказывает: «...мне однажды говорит: «Поеду к себе в Тимониху, надо написать повесть, пусть меня не беспокоят». Уехал и через месяц вернулся (я удивился: как скоро!) с рукописью повести «Привычное дело». Читал я — и слов у меня не было: то слезы наворачивались на глаза, то смех облегчал душу, то горькая боль саднила сердце, то все мое существо поднималось в ветровое российское небо. Стало сразу ясно: «Привычное дело» — корневая вещь, у нее долгая жизнь».

Даже если учесть, что некоторые эпизоды повести были написаны ранее как самостоятельные небольшие новеллы и вошли в «Привычное дело» почти без изменений, и то срок в один месяц кажется невероятным. Других объяснений этому, кроме дарования родиной Белову невиданной духовной силы, нет...

Гостевание у Шолохова в Вешенской окончательно рассеяло все сомнения Шукшина:

«Для меня Шолохов — олицетворение летописца. Знакомство мое с посредственными писателями много способствовало упрощению моих представлений о Шолохове. От этих писателей я научился жить суетой. Шолохов вывернул меня наизнанку. Шолохов мне внушил — не словами, а присутствием своим в Вешенской и в литературе, — что нельзя торопиться, гоняться за рекордами в искусстве, что нужно искать тишину и спокойствие, где можно осмыслить глубоко народную судьбу. Ежедневная суета поймать и отразить в творчестве все второстепенное опутала меня. А он предстал передо мной реальным, земным светом правды.

Я лишний раз убедился, что занимаюсь не своим делом. Сейчас я должен подумать о коренном переустройстве своей жизни. Наверное, придется с чем-то распрощаться — либо с кино, либо с театром, либо с актерством. А может быть, и с московской пропиской... Суета! Хлебнуть всего понемногу — вот что мной руководило. Это многих губит».

И далее в беседе с болгарским журналистом Спасом Поповым Шукшин говорит: «Писатель в конце концов остается главным для меня. Бросить писать я не могу. Положение мое меня пугает. Особенно после встречи с Шолоховым. Заразил он меня своим образом жизни (разрядка моя — А. Б.)... Главное в жизни — спокойно мыслить и действовать. Это не мое открытие, это мысль древших...

В Вологде живет писатель Василий Белов. У него не бывает ни одного дня без богатого писательского улова. А я прожигаю свое время в столице. Нет, этого больше не будет! Белов мудро сидит в Вологде и смеется над нами. Шолохову в Вешенской мы видны как на ладони».

С хутора Мелологовского, где снимается фильм «Они сражались за Родину», Шукшин отправляет матери письмо: «Здравствуй, родная моя! Сам измучился и вас измучил своими обещаниями приехать. Все никак не могу вырваться...

Сам соскучился, сил нет.

Мама, одна просьба: пока меня нет, не придумывайте ничего с домом, т. е. не продавайте... У меня в мыслях-то в дальнейшем — больше дома жить, а дом мне этот нравится. Вот после этой большой картины подумываю с кино связываться пореже, совсем редко, а лучше писать и жить дома... Тянуть эти три воза уже как-то не под силу становится. И вот мечтаю жить и работать с удовольствием на своей родине».

Дом, где в 1978 году открылся музей В. М. Шукшина и о котором идет речь в письме, — добротный крестьянский дом, крытый цинковым железом, с летней кухней, банькой и огородом, — был куплен Василием Макаровичем в 1965 году для матери на гонорар за роман «Любавины».

Так и не удалось Шукшину пожить и поработать с удовольствием на своей родине.